

Петр  
Алешковский



Петр  
Алешковский

# Рыба

и другие люди

*Проза*



Издательство  
АСТ  
Москва

УДК 821.161.1  
ББК 84(2Рос=Рус)6  
В62

Оформление переплета — *Андрей Рыбаков*

**Алешковский, Петр Маркович.**  
А49 Рыба и другие люди / Петр Алешковский. —  
Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2017. —  
540, [4] с. — (Новая русская классика).

ISBN 978-5-17-102417-8

Петр Алешковский (р. 1957) — прозаик, историк. Лауреат премии «Русский Букер» за роман «Крепость».

Юноша из заштатного городка Даниил Хорев («Жизнеописание Хорька») — сирота, беспризорник, наделенный особым чутьем, которое не дает ему пропасть ни в таежных странствиях, ни в городских лабиринтах. Медсестра Вера («Рыба»), сбежавшая в девяностые годы из ставшей опасной для русских Средней Азии, обладает способностью помогать больным внутренней молитвой. Две истории — «святого разбойника» и простодушной бессребреницы — рассказываются автором почти как жития праведников, хотя сами герои об этом и не помышляют.

«Седьмой чемоданчик» — повесть-воспоминание, написанная на пределе искренности, но «в истории всегда остаются двери, наглухо закрытые даже для самого пишущего»...

УДК 821.161.1  
ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-17-102417-8

© Алешковский П.М.  
© ООО «Издательство АСТ»

# **Рыба**

**История одной миграции**



Пришли воры, хозяев украли,  
а дом в окошки ушел.

*Русская загадка*



# Часть первая

## 1

Папа с мамой мои были геологи. Их долго носило по стране, пока не закинуло в Таджикистан, в город Пенджикент. Мы жили на русско-татарской улице имени Зои Космодемьянской. Улицу таджики не любили, и, как я теперь понимаю, правильно. Здесь пили запрещенный Кораном портвейн, не копили денег, напрягая все жилы на громкоголосый туй-писар, праздник из главных — обрезание мальчишка, когда кормили пловом несколько сотен обязательных по такому случаю гостей.

За три дня туй-писара сжигалось накопленное именно для этого праздника богатство. Так горит легкий хворост в печи. Пых-пых-пых, отшумел огонь под казанами, женщины утерли пот и принялись отмывать котлы от застывшего жира, впившегося в темный чугун, как весенний лед в скалы. Я видела такой лед на перевале Даштиурдакон, когда мы ходили в поход с пионервожатой.

Мама нанималась убираться на такие праздники: после гибели папы в горах нам всегда не хватало денег. За подработку на праздниках давали «приклад» — остатки пиршества. Мы с мамой ели плов целую неделю. Разжаренный на хлопковом масле рис я до сих

пор не люблю: только подумаю, ощущаю изжогу. Таджики смотрели на советский геологический сброд нашей улицы как на наметенный ветром песок, как на готовые сорваться в любую сторону клубки перекаати-поля. Они терпели нас, как терпят ненастье. Русские платили таджикам ответной нелюбовью. Таджики казались нашим богачами и баями — у них была своя земля.

Сейчас я понимаю: никакого богатства не было. Богатые туй-писары, что справляли начальники, мы видеть не могли: за заборами-дувалами в старых кварталах текла жизнь совсем иного покроя. Часть ее выставлялась напоказ — пузатые мужики просиживали свой век в чайхане, налитые кайфом, как мускатные виноградины на солнце. Таинственное пряталось в масляных глазах — суженные зрачки, как галька в текущем с ледника Зеравшане, держали холод, а чисто промытая кожа лица источала страшное сияние. Я, девочка, боялась этих лиц больше, чем висящих у пояса острых ножей-пичаков, которыми, рассказывали, чуть поправив лезвие на ремне, легко было брить головы, как завещал им их Мухаммед.

Мы, космодемьянские, всегда двигались, всегда размахивали руками, всегда что-то рьяно доказывали и, не стесняясь, прилюдно ругались. Наши девчонки заплетали две косы, их — много-много. Мы играли в лапту, в волейбол, в штандер-стоп, а не в «ошички» бараньими косточками, и не кричали, взвизгивая от восторга на весь школьный двор: «Конь!», «Бык!», — в зависимости от того, на какую грань упал маленький отполированный астрагал. Мы были ласточки у обрыва реки, они — даже не орлы в небе, а те еле видные тени нагретого воздуха, дрожащие и полные тугой силы, что поддерживают орлиные крылья на высоте.

Космодемьянские потребляли любой алкоголь, но покуривали и план, от которого гоготали, и хихикали, и ползали на карачках, «козлили», — словом, вели себя непристойно, выставляли напоказ срам, выгоняли наружу демонов души, кобенились и юродствовали. «Я! Я! Я!» толпы, запертое до поры, вываливалось на улицу, как требуха из вспоротого брюха, и корчилось, вытянув шею и расправив плечи, давило гопака, суматошно лупило ладонями по ляжкам, как лупит крыльями гусак, стремящийся обратить на себя внимание стаи. Плаксивые страдания гармонии и низкие куплеты частушек — все свивалось в жгут, всегда в одном котле, одной артелью. Кончалось это безобразие безрассудной дракой, утверждающей поганое «я» или бросающей его на поругание, — получить по роже, дать в рожу казалось едино, синяк сиял потом медалью, выбитый зуб тянул на орден, пробитая голова лечилась портвейном и зарастала, как прививка на яблоне, припухлым и заскорузлым шрамом.

Толстые таджики, узбеки в шахристанских тубетейках и приезжающие на базар памирцы — жилистые, нищие и гордые, даже дикие туркмены, прячущие своих красавиц-дочерей под паранджой, — никогда не дрались, не пили дурманящего вина, не раздирали время локтями, но исключали его. Они клали за щеку горстку насвая и преображались в грудку спрессованной, высушенной солнцем пахсы — по-особому замешанной с кизяком земли, из которой строили себе дома, сараи, мечети, заборы-дувалы, стены и башни древнего Пенджикента. Пахса со временем рассыпалась в пыль, чтобы снова стать сырьем для нового замеса или уйти под землю, нарастить неприметный глазу культурный слой.

На древнем городище — главной достопримечательности нашего райцентра — давно не жили, там

работали археологи. Глубина их раскопов превышала иногда пять-шесть метров: большие сухие колодцы, уходящие в глубь земли, открытые кетменем, тешой и мотыгой напластования ушедших в нее жизней, потомков которых я девочкой так пугалась, проходя мимо чайханы на улице Абулькасима Лахути за лепешкой или холодным молоком из магазина.

Позже, когда развалилась геологическая партия, когда запил и глупо погиб в глубоком шурфе отец, а мама перешла работать санитаркой в городской роддом, я узнала и полюбила тетю Гульсухор и тетю Лейлу, тетю Фатиму и дядю Даврона — нашего молодого доктора, дарившего мне домашние сладости. Я поняла, дурочка, что они — трудяги, и даже те, что сидят как истуканы в чайхане, тоже где-то и как-то зарабатывают на такую свою жизнь. Я, девочка с двумя тонкими косичками, русская с улицы Зои Космодемьянской, для них была пыль — и потому, что девочка, и потому, что с поганой улицы, где вечно дежурила по ночам милицейская машина. В ней сидели дядя Саид — за рулем, а Коля Первухин — сержант — рядом, на рации. Коля всегда курил папиросу и смотрел на плохо освещенную ночную улицу, как пес из конуры, готовый рвануть с пистолетом в руке на первую опасную тень, лишь бы успеть, настигнуть, повалить то зло, что мешает спать залетным, набившимся в двухэтажные бараки по обе стороны дороги, — так мухи набиваются под обои, чтобы переспать холода.

Я уже давно не живу на улице Зои Космодемьянской в Пенджикенте. Двадцать семь лет не просыпаясь от крика петуха и бляенья черной соседской козы, не наблюдаю в окно за сбившейся под фонарем страшной ночной собачьей стаей. Все реже и реже вспоминаю зелено-синий в предрассветной мгле Зеравшанский хребет и темную нитку реки под

ним. Горы уже к одиннадцати дня истаивают в жаркой жирной дымке, и остаются только тени — очертания, намек. Они проступят, мрачные и фиолетовые перед закатом, когда спадет дневная жара. Тогда мама придет домой со смены и достанет из хауса — неглубокого пруда в саду — наш арбуз. Мы сядем ужинать, и я буду вгрызаться в холодную сахарную мякоть, а потом считать черные семечки на тарелке и хлопать себя от восторга по набитому пузу липкой от арбузного сока рукой. Все это — и еще многое другое — я вспоминаю редко, но то и дело, когда я засыпаю, передо мною проходят чередой лица стариков и мужчин в чайхане, повернутые в сторону испарившихся гор, углубленные во что-то, что мне, девочке, ни понять, ни почувствовать было не дано, — лица стоящих в канале рыбин, тяжелых серебряных толстолобиков: скулы сведены, губы чуть-чуть шевелятся, словно лениво повторяют молитву, а маленькие глаза не мигая глядят сквозь тебя — страшные и холодные, как уснувшая вода.

Наверное, это потому, что я теперь часто гляжу в лицо старушки Лисичанской, с которой живу и за которой ухаживаю уже два с половиной года. У нее работает одна рука — левая, почти отсутствует речь, и узнаёт она только меня, но назвать по имени — Вера — не может. Она научилась повторять за мной. И то слава богу.

Утром я вхожу в комнату, смотрю на обращенное ко мне сухое лицо. Если глаза блестят, говорю: «Доброе утро!» Рот открывается, по лицу пробегает тень — она морщит лоб, словно спешит задержать долетевшее до нее слово. Тоненьким детским голоском повторяет: «Утро». Два слова выговорить ей сложно, но иногда она посылает вдогон повтор, получается: «Утро. Утро». Это значит, и правда, выда-

лось доброе утро. Мы приступаем к процедурам. Она у меня совсем невесомая, как девочка, справляться с ней легко.

Если же взгляд остановившийся, как замороженный, и глаза мутные и пустые — здороваться бесполезно. Я сразу подхожу к кровати и начинаю менять ей памперс, мыть тело губкой, мазать пролежни облепиховым маслом, массировать спину, ноги, чтобы в них вернулись кровь и тепло.

Если глаза закрыты и рука лежит поверх одеяла как плеть, — это очень плохо: мы опять умираем. Давление у нее бывает и девяносто на шестьдесят, и двести двадцать на сто сорок, сосуды головы изношены до предела. Понятно, что ни о какой кормежке речь идти не может, в такие дни я пою ее, как младенца, из соски. Она рефлекторно шамкает губами, я и рада, что хоть сок выпила, а пробовала давать так кашу — смыкает губы — и ни в какую, что двери в метро: до следующей остановки не откроются.

Даю ей из подушки кислород и, если она начинает потеть, обмываю теплой губкой почти бездыханное тело — бабушка моя там, далеко, — остается только ждать и молиться. Так как молиться я по-правильному не умею, говорю скороговоркой: «Отче-Бог, помоги сегодня бабушке Лисичанской, а мне как хочешь, — всегда после этих слов крещу свой лоб и добавляю, как однажды услышала: — Аминь Святого Духа!» Затем я кладу руку на ее лоб, горячую руку на ее холодную косточку, и держу, не отрывая. Мрамор статуи, наверное, и тот теплее. Очень по-разному, иногда только через полчаса я начинаю наконец ловить слабую пульсацию. Сжившись с ее ритмом, уже начинаю различать отчаяние, смертельную усталость, досаду, жалость, боль. С врачебной точки зрения там нечему болеть, но иногда боль забивает все

остальное, и я слышу только ее — так стрекот цикад забивает шорохи ночи. Я давно не ищу объяснений, просто держу руку, наливающуюся свинцом, и, чтобы отвлечься, беру книгу и читаю про себя. Я научилась перелистывать страницы одной рукой. В такие минуты она все равно не слышит.

Бабушка упелената своими переживаниями, как капуста листьями. Они покрывают ее сердцевину, и, чтобы пробиться к ней, нужно освободить ее от всего наносного. Одна моя рука машинально перелистывает страницы книги, другая как бы освобождает, очищает что-то глубоко запрятанное. На поверхности, здесь, в комнате, ничего не происходит — немая старушка, немая рука. Я читаю книгу. Но мы трудимся, идем навстречу друг другу: моя цель — избавить ее, ее — избавиться. Бывает, она лежит так несколько часов, а когда заснет — бог весть. Постепенно уходят адская боль, немощь, обида, зло, недоверие, отчаяние, досада, страх, стеснительность, подозрительность, бесконечная печаль, и в какой-то момент меня вдруг пронизывает заряд, как от удара током, — и я отдергиваю руку. Рука теряет чувствительность, становится холодной, как лед. Бабушкин лоб потеплел, значит, все правильно. Бабушка заснула. Я иду в ванную и держу руку под струей горячей воды, рука постепенно отходит.

## 2

Спим мы ночью плохо. Если в неделю две или три ночи прошли спокойно — это подарок. Время от бабушки отлетело и спуталось, как надранная клоками и неразобранная шерсть, еще не превратившаяся в войлок. Ночью она смотрит в точку на потолке.